

# ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

## ДЕВУШКА С ПРИЧУДОЙ

### МИХАЛЫЧ

Из машины Михалыч уверенным шагом пошёл в противоположную от местной газеты «Сенеж» сторону. Если бы Михалыч не был человеком, то он был бы, наверное, танком.

– Михалыч, – газета не там.

– Да ты чо?

Уговаривать Михалыча – дело пустое. И мы оказались сначала у цветочных палаток, где тоскующие цветочницы пристально изучили шкиперскую бородку Михалыча. А потом перешли дорогу, разделяющую городок Солнечногорск на две неравные половинки яблока.

В скверике – серебряный Ильич – изучал оптимизм. Михалыч в своей защитного цвета куртке с москитной сеткой, штанах и с безразмерной корзиной, куда, если постараться, вошёл бы весь город Солнечногорск вместе с тоскующими цветочницами.

Защитный цвет – это, видимо, чтобы грибы не заметили!

Мы потоптались у Ильича, как первые христиане у мощей Учителя. Потом Михалыч уверенно повернул оглобли обратно, крикнув:

– Ну я же сказал, что мы не туда идём. Это ты меня запутал!

Михалыч глуховат. Он не говорит, кричит. Когда за столом, да ещё с женой, они орут вместе. Она орёт, потому что он тут на ухо. Он орёт, потому что с Севера. На севере все орут, заглушая забывание выюги.

Поиски кроссовок превращаются в драму. Двери стучат, супруги кричат, лает истошно соседский пёс Бойцман.

Наконец после долгих и безнадежных блужданий газета «Сенеж» обнаружилась в кирпичной пристройке к пятиэтажке. В газете «Сенеж» у Михалыча интервью.

На крылечке курит печальная дева Брунильда, вышедшая покурить из озера Сенеж. В тесной комнатальке с незамысловатыми, как штаны Михалыча, узорами бьются с жизненными обстоятельствами две фактурные бухгалтерши.

– Димы нет. Газеты у него. И вообще Дима в отпуске!

Но Михалыча просто так не сломаешь: сибиряк, на медведя ходил в рукопашную:

– Я – Блинов! У меня интервью в майском номере. Дима оставлял мне газеты.

Упасть и не встать: Блинов!

Это в Губкинском каждая хромая собака с облезлыми боками знает, кто такой Блинов! Каждый медведь в берлоге, разбуди его синей и выюжной полярной ночью. Каждая куроптака или разведёнка в продуктовом магазине. А город Солнечногорск недалеко-то Москвы. Всяких навидался. Эка невидаль: Блинов!

Решено ждать Диму, который уже выехал из отпуска на автобусе и будет через двадцать минут.

От нечего делать мы переходим дорогу. Зебра, как полоски судьбы Михалыча. Мы – на светлой. У Михалыча скоро выйдет книга, сейчас приедет из отпуска Дима и даст газету с интервью. А потом Михалыч поедет за грибами.

Корзина величиной с Камаз, куда можно вместить даже озеро Сенеж с пляжем, санаторием художников и русалками.

Михалыч говорит, что меньше двух вёдер собирать не привык.

Судьба обламывает Михалыча, но он упорно идёт ей наперекор. Лихачит. Говорит, что сейчас возьму и обгоню вот ту машину, что впереди, не проснувшись. А Рима, жена его, говорит, ну да обгонишь, как в прошлый раз и тебе дадут по морде. – Кто даст? – кипятится Михалыч. – Да в прошлый раз тебе дали по морде. – Да ты что? Это я ему чуть не дал. А если бы он дал, то получил бы у меня.

Михалыч в молодости занимался боксом. На гвозде, на даче висят боксёрские перчатки, похожие на бордовый помидор – только что с грядки.

На улице жара. Мы возвращаемся в газету. На крылечке курит печальная Брунгильда.

– Нашли! – говорят бухгалтерши.

Михалыч счастливый, он листает газету. Интервью нет.

– Да ладно, Михалыч, бери, что дают! Всё равно ведь читать не умеешь! – я шучу, бухгалтерши, колеблясь всем телом, как саламандры, смеются!

Дима летит на звездолёте. Духота наступает на горло собственной песне.

Мы ждём Диму. Я иду за кофе на меньшую половинку Солнечногорска, которая обложила железно-дорожные пути, как монгольское иго. Михалыч, поникнув головой, увязался за мной.

Он не привык сдаваться. Кофе растворимый в маленькой будке, где готовят шаурму и загорают грустные чебуреки. Жарко, как в сауне.

– Как же Вы тут живёте? – спрашиваю я Гульчатай.

– Мы выбегаем на улицу.

Летний день длинный, как бабл-гам, но газету всё же находят. Мы прощаемся.

Я с газетой в руке, где большой портрет Михалыча и где он гордо говорит о том, что литература никому не нужна, поднимаюсь на мост, потом спускаюсь, на ступенях сидит парень с расквашенной физиономией. Вот, допизжонился, как Михалыч, у него, поди, тоже были претензии к миру.

На платформе железные поручни посередине. Это чтобы не унёс мелькающий, как пуля у виска, сапсан. Михалыча и без поручней не оторвёшь. Он врос в землю, сроднился с нею, что гриб!

Объявление из репродуктора: *Запрещено курить и валяться на диване!*

Ну это только тем, кто сдался малодушно, думаю я. Всем остальным, не всем, правда, но можно.

Вот Михалычу можно!

У него почти уже вышла книга. И напечатали интервью!

Но, однако, жарко и скоро будет гроза.

Если Михалычу позвонить, то он и грозу отведёт.

Михалыч написал десять томов книг в твёрдой обложке. Он знает – что и как!

Михалыч любит, когда его хвалят, а когда ругают – нет. Тогда он начинает кипеть, как чайник.

И из-под его пышных, как у кота, усов, валит пар:

– Да ты прочти сначала!

– Михалыч, кто ж нынче читает-то?

Писатель – это разведчик. Он пишет не для себя и окружающих. А для очистки совести. Потому что иначе не умеет, не может.

Его заслали в тыл врага. И крутись, как хочешь.

И Михалыч пишет. А народ не читает. А он всё равно пишет.

Про север, буровиков, медведицу, которая плакать умеет, про своё голодное детство, когда картофельные очистки, словно деликатес, лупил. Только бы сердце выдюжило. Всё хорошо и надёжно у тех, кто с севера. Вот только сердце нашенской сборки нежное, по-детски вспылчивое и рано изнашивается.

Правда, в Губкинском, говорят, особое. Огнеупорное и водостойкое. Но у Михалыча – пошаливает.

Поршни постукивают, и насос хрипит.

Видать, что-то такое не докрутили, когда гайкой наживляли.

Болезни на Михалыча наваливаются зимой, летом его берёт. А зимой он сидит и перечисляет болезни: сердце, подагра, сосуды...

Небольшое приложение к северу, военному детству, интернату, лепешкам из сныти, спирту и морозу 70 градусов.

Михалыч сидит, а за ним в алмазной снеговой пыли летит, очертя голову, страна, чудесная сказка про оленьи рога, в которых рождается солнце для всех людей.

И персонально – для него, Михалыча!

## ДЕВУШКА С ПРИЧУДОЙ

Эта история произошла черт-те знает когда. В начале нулевых. Тогда я работал в журнале «Юность».

Работы никакой не было. И денег тоже.

Но зато были мечты.

Под вечер в «Юности» собиралась разношерстная публика: жуликоватые прозаики и поэты, авантюристы, авангардисты, сталинисты, стоардессы, греческие певцы, волоокские девицы с видами на жизнь, мрачные студенты Лита, буддистские монахи, бомжи, жены бандитов и прочая.

Все эти забавные люди приходили в «Юность», словно возвращаясь в своё прошлое.

В то время, когда они не были прозаиками и поэтами, авантюристами и авангардистами. И всё ещё было впереди, а не позади.

Однажды «Юность» пригласили в библиотеку Одинцова. В библиотеке были одни старушки и до-родная девица с ласковыми, как у коровы, глазами по имени Оксана.

– Оксана, – сказали мы ей, чтобы хоть что-то сказать, когда сказать уже нечего, а прощаться рано, – приходите к нам в гости.

И Оксана в следующий вторник пришла в «Юность».

На улице бушевал ноябрь, рубль корчился, как эпилептик, а «Юность» не унывала.

«Юность» не унывала никогда.

Вокруг бурлила жизнь, воевали, устраивали путчи, а в «Юности» ничего не менялось. Всё было по-крыто плесенью.

Ни войны, ни землетрясения «Юности» не касались. Авторы, какие-то замухрыжистые полубомжи или миллионеры в безумными глазами или медведи с северов, приносили деньги в авоськах.

В «Юности» не знали ни кризисов, ни дефолтов. Главный редактор появлялся на работе часов около восьми вечера, а мог и не появиться и вовсе.

А потом, словно со дна озера, как налим, всплывала, звонил и я плавал в этом топком, карамельном веществе и не понимал, что происходит, где я и зачем?

Оксана работала на фабрике «Причуда». «Причуду» купили французы, по телевизору показывали рекламу о том, что печенье «Причуда» – это вкус советского детства.

Французские эмигранты русского происхождения или бандиты пытались вернуть вкус светскому детству, канувшему в Лету.

«Юность» в то время была тоже с причудой. Особенно, когда ты входил в маленькую железную дверь в стене на Тверской-Ямской, поднимался на пятый этаж.

В сизом от сигаретного оттенка полумраке площадки пятого этажа стоял тазик с огурками, большое кресло, баночки, вазочки с помидорами и фикусами. За дверью лаяли собаки. А в кресле сидела рыжая халда в шортах, на её голове разгорался пожар в джунглях.

Когда очередной посетитель, как альпинист, взбирался на пятый этаж, спотыкаясь о дополнительную полу-степеньку бывшего доходного дома на втором этаже, халда басом спрашивала:

– К Валерке?

Халда – была из Харькова, приехала в Москву и поселилась на Тверской. Занималась она всем и сразу.

Халда была бандершей Тверской управы.

Валерка категорически не совпадал со временем. Ему казалось, что время спешит, и он пытался об-уздать время, всегда опаздывая.

Валерка был поэтом.

Поэтому иной раз не приходил и вовсе. Но писательский и поэтический, разного рода околотитра-турный сброд, собирался и терпеливо ждал Валерку.

Главная интрига очередного вторника состояла в том: придёт или не придёт Валерка?

Валерка всем был нужен. Он это прекрасно понимал. Потому не все и не всегда были нужны Валерке.

Такая вот Валеркозависимая странность. В жизни должно быть всё непоправимо и странно.

Кто-то мечтает накопить денег и купить майбах, а кто-то – дождаться Валерку.

«Юность» был таким абсолютно не литературным, язык не поворачивался назвать литературой то, что там печаталось, но довольно странным местом тусовки.

Особенно по части гостей.

Так вот.

Оксана пришла во вторник с добрыми глазами коровы из Одинцова. Оксана с фабрики «Причуда».

Оксана, естественно, принесла с собой три пачки «Причуды». И мы стали пить чай с «Причудой», погружаясь в детство с его дурацкими шуточками и приколами.

В детском саду печенье с молоком давали на полдник. С густой и жирной, как веки у Вия, пенкой!

Вкус детства!

После того, как Оксана многословно и заковыристо рассказала о том, что работа на фабрике «Причуда» не сахар и что бригадир Юрка пристаёт к ней, все как-то оживились.

Юрка сразу всем понравился своей прямоотой. Особенно Валерке. Юрка был простым и честным, как печенье «Причуда». И если хотел, то и говорил, чего он хотел.

Мы слушали Оксану, ели невкусное печенье, сочувствовали Юрке, осуждая Оксану за чёрствость. Но Оксана шуток не понимала.

Оксана возмущалась и спрашивала: как же так?

А мы ей цитировали Чехова:

«В купе зять ей: „Но чего вы боитесь? Что в этом ужасного? Разве вас убудет от этого?“».

Оксана со всей серьёзностью и непосредственностью провинциальной наяды с коровьими глазами говорила: почему я должна ему уступить?

Потому, говорили мы, давись невкусным вкусом советского детства, что тебе это всё равно, что вы-сморгаться, а для Юрки – это жизненная необходимость.

Пойми! У Юрки жена беременная, он с ума сойдёт!

Но Оксана не хотела ничего понимать. Не понимал и Валерка.

И на следующий вторник, словно очередной аргумент в пользу того, что она Юрке ничего не должна, она привела с собой подругу. Подругу с фабрики «Причуда».

Подругу тоже звали Оксана.

Оксана была маленькая и пугливая. Бригадир Юрка приставал и к ней, не добившись ничего путного от первой Оксаны.

Но и маленькая Оксана ему отказывала во взаимности. Оксана любила Леонардо ди Каприо. А некрасивый и всегда пропитой Юрка из Подольска не был похож на Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник».

Но мы спрашивали и вторую Оксану:

Ну что же ты, Оксана?

Маленькая Оксана хихикала, как мышь.

А мы ели невкусное печенье «Причуда», говорили о литературе, которая умерла, о Чехове и ждали Валерку.

Иногда Валерка приходил. А иногда и не приходил, борясь с минутными и часовыми стрелками.

Когда однажды Валерка пришёл и увидел ещё одну Оксану из «Причуды», он очень развеселился.

Как мало надо человеку для счастья, Бог ты мой!

Он пил чай, ел печенье, смеялся. И казалось, что жизнь наконец всем улыбнулась широкой голливудской белозубой улыбкой Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник».

И так будет всегда: молодость, печенье «Причуда», «Юность», две Оксаны...

А в следующий вторник Оксаны привели с собой ещё один аргумент в пользу того, что Юрке уступать нельзя.

Аргумент звали тоже Оксаной.

Три Оксаны сидели за столом с самоваром и рукописями, как матрешки. Одна большая, вторая, которая хихикала, как мышь, поменьше. И наконец самая маленькая и толстая Оксана.

Три Оксаны в фирменных комбинезонах. Третья Оксана в комбинезоне напоминала воздушный шар в корзине.

Третья Оксана работала на фабрике «Причуда», казалось, с момента её основания. И тоже знала Юрку.

Но Юрку она послала давно туда, куда Юрка и так хорошо знал дорогу. Дорога столбовая и хорошо утоптанная.

А в «Юности» третья Оксана сидела и молчала.

Она молчала три вторника подряд, а потом мы наконец спросили её:

– Оксана, ну скажите же хоть что-нибудь?

Третья Оксана улыбнулась и ответила:

– Блин, вы тут все люди такие интеллигентные, о книжках, о литературе рассуждаете, а я последний раз читала книжку в школе. Блин, я работаю на фабрике «Причуда». Работа у нас такая, что простыми словами о ней не расскажешь. Только матом. Поэтому я и молчу всё время. Извиняйте!

Очень нас растрогала третья Оксана. Растрогала своей честностью. Но больше всех она растрогала меня. Так растрогала, что я взял свою книгу и подарил ей.

Третья Оксана попросила, чтобы я ей написал книгу. И я написал этой героической девушке мою книжульку...

...Умчалась «Юность» угорелой электричкой, Валерка, не дождавшись срока, улетел на небо, как Божья коровка.

Нет больше юности и «Юности», хотя тогда казалось, что этот цирк будет здесь всегда...

Но я очень хорошо помню надпись на моей книжке:

*Оксане, девушке с причудой!*

Мне кажется, что это – самая удачная дарственная надпись, которую я когда-либо придумывал.

И я до сих пор не понимаю, почему Оксана на меня обиделась?

## РАССКАЗ ПРО ГЕНКУ БАГАЛУРОВА

Мой однокурсник по МГПИ имени Ленина Генка Балагуров обитает в Королёве.

Плавает Балагуров в этом космическом пространстве, как карась на колхозном рынке, тычась в мутные стенки аквариума.

Полуслепой Генка с линзами такого огромного калибра, что похож на муху под увеличительным стеклом.

За человека его никто всерьёз не принимает. Каждый норовит потыкать его носом, как котёнка в кучу, либо отмахнуться, либо газетой пристукнуть.

Муха ведь!

Тёмно-зелёные перископы его очков по вечерам смотрят из окошка, с первого этажа, оттуда, где земная твердь, словно прибитая к бетонному фундаменту соткой, свинцовой струей дождя: помойки и магазины.

Смотрит Генка – наверх, где небо должно быть, из глубины взывая. А небо над Королёвым черно, как копоть. Нет неба над Королёвым. Там, где небо было, потолок. Белый, как застиранный больничный халат у медсестры «Ухо, горло, нос» в поликлинике.

Королёв припаян к жизни, как борцы за светлое будущее к своему пьедесталу. Королёв зимой зол, словно студень с хреном.

Полуслепому Генку не берут на работу. Он – инвалид, а стало быть, как и всякий человеческий хлам, должен в полной мере ощутить, что такое – приживала из чеховской пьесы, какой-нибудь Телегин.

Сердобольная соседка по подъезду, баба Рая, однажды, увидев Генку, молчаливо бредущего домой с батоном хлеба в сетке, сказала:

– Таких, как ты, Гена, не должно быть в природе. А ежели ты всё же появился, то надо было придушить во младенчестве, чтобы сам не мучился и других не мучил.

И Генка вдруг всё понял. Он осознал своё одиночество, он яростно кусал батон, запивая его чаем и решил, что соседи тоже ведь люди, им тоже надо над кем-то возвышаться и не только этажами и социальным положением. Но курьером он устроился.

Генка колесил с разными бумагами по Подмоскovie, бросая якорь в пустых гаванях с ржавыми судёнышками: дом культуры с колоннами, гостиница, рынок, рюмочная с непременно серой котлетой на витрине, Ленин с кепкой, станция, скамеечки и лопухи.

Он останавливался на ночлег в городах, забытых своей судьбой, в гостиницах, напоминающих пустой вагон. С кислым запахом вчерашней, словно щи, жизни.

Вечно сонные и дородные сфинксы, консьержки с огромными астраханскими арбузами под кофточкой, лениво глядя на полуслепому Балагурова, ото всей своей души, переполненной добродушием, презирали его.

Генка смотрел на них и думал, что вот были люди, а стали сфинксы. Египетские сфинксы, загорающие на гранитной набережной Питера. Гена в детстве, увидав сфинкса, испугался, словно, раздвинул завесу времени и угадал то существо, которое будет в гостиницах драть с него деньги.

Этот омертвевший зрачок судьбы, его родина. Неподвижно, как царица египетская в пирамиде, консьержка загробного царства заворожила всё пространство вокруг: магазин «Продукты», дома, жующего булку пешехода, и небо – в алмазах.

– Плати! – сказала ему консьержка.

– За что?

– За проституток!

– Так я не заказывал!

– Мил человек, если бы ты заказывал, это обошлось бы тебе дороже...

Гена не мог, а всё одно платил. И как же не заплатить, раз просят?

За проституток!

Генка любил русскую литературу, а потому проституток жалел!

Поколесил, побегал с бумагами, но оказалось, что безработным дома сидеть – выгодней. Не надо на проституток доплачивать свои к командировочным!

Взялся было Гена за статьи. Но и тут его ожидало фиаско.

Он без устали боролся со стилем. Вернее со своей физической немощью, советскими = газетными штампами и ежедневным стыдом за свою слепоту перед людьми и консьержками. Перед всеми!

Как тут быть или не быть?!

Тут даже Гамлет в своём Эльсиноре удавился бы от безысходности!

Подкинул я было Гене парочку текстов, чтобы он их, выдавая за свои, продвигал в местный серый бумажный кораблик, качающийся, словно зыбка в тёмной избе, по волнам житейского моря. В газетку местную.

Но Гена испугался собственной наглости. Да как же? Да можно ли? Да что это?

Гена сказал, что редактор сразу всё поймет: это написал не он. И принялся изо всех сил ухудшать тексты. И даже немало преуспел в этом. Он устраивал инверсии, накручивал вихри дееспричастных оботов, укорачивал головы прилагательным.

И ему всё же удалось напечатать статью про удава, который задушил свою хозяйку по чистой случайности или от любви к искусству, я уже, если честно, не помню.

Я всегда подозревал, что, конечно, способен на многое. И даже на большее. Что недооцениваю себя. И даже очень. Но про удава я никогда не писал.

– Гена! – кричал я в трубку, рыдая от смеха и слёз, – не писал я про удава! Не мой удав-то. Я вообще всех этих гадов боюсь. Всех чохом! Удава тем более.



А Гена в ответ захрипел, захрюкал радостно:

– Удав – твой. А то чей же? – ведь никто в здравом рассудке ему бы удава не подкинул! За здорово живёшь, задарма – удава? Продать – продали бы, как девок в гостинице, а просто так – не в жизнь.

Ну мой, так мой, решил я. Жизнь человека, гуманитария тем более – терниста. Почему бы и нет? Чего не бывает? Удавы, крокодилы, сфинксы, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы...

И я всё подкидывал Гене темы, которые могли бы заинтересовать старенького с болезненным, как у старой мокрицы, самомнением, ответсека газеты то ли «Провинциальный вестник», то ли «Правда Королёва».

Но и тут Гена умудрился зайти в гулкий и тёмный переулок, окончившийся тупиком.

Он кричал своим слабеющим с каждой спетой им нотой в партии отчаяния голосом, захлёбывался в хрюкающем смехе и рыдании. В его голосе смешались страх и трепет, одиночество и отчаяние:

– Не могу-у нарастить объём!

– А сколько у тебя, Гена! – спрашивал я у него, и мне почему-то казалось, что на том конце провода не человек Гена, а добрый крокодил из мультика про Чебурашку, которого никак не хотят принимать в пионеры.

– 1000 знаков! – Гена был готов на всё, и даже – рассмеялся бы, если бы умел.

Тысяча знаков! Ну конечно, когда человека ежедневно шпыняют за то, что он на свет родился, ни у кого не спросясь разрешения и справку из ЖЭКа, что он мозолит глаза своим нелепым видом, словно карась на рынке, тычась слепой мордой в стенки аквариума, то и 1000 знаков – проблема.

Видимо, жизнь решила его доконать не только полной слепотой, но и немотой, чтобы он вообще ничего не мог путного из себя выдавить. Кроме жалоб на свою горькую судьбу. И только по вечерам смотрел на небо вечно добрыми и наивными зелеными перископами, словно из глубин человеческого отчаяния, как говорится, взывая:

– Господи, за что?

Но нас не возьмёшь голыми руками. Генка!

Мы – филологи!

А потому только вперёд. И с песней.

Сегодня будем учиться наращивать объём.

Мы нарастим объём, даже если больше некуда и ничего.

Мы накачаем его насосом, как раньше цыгане накачивали худых кобыл.

Не дрейфь!

Мы нарастим.

Генка! Ты – ведь Балагуров!

А потому – держись!